

Осоргин Михаил Андреевич

Сивцев вражек

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.3

ББК 84-4

Осоргин Михаил Андреевич

Сивцев вражек / Осоргин Михаил Андреевич – М.: Книга по Требованию, 2011. – 196 с.

ISBN 978-5-4241-1709-1

Первый роман Михаила Андреевича Осоргина "Сивцев Вражек" был издан, когда его автору исполнилось пятьдесят лет. Позади остались годы революционной деятельности, сотрудничества в "Русских ведомостях", работы в Книжной лавке писателей, борьбы с голодом в Комитете помощи голодающим, позади была Россия, единственная, страстно любимая, впереди - годы изгнания, освещенные чувством сыновнего долга перед страной, в которой родился. М.А.Осоргин написал много прекрасных книг. Сейчас они возвращаются на Родину.

ISBN 978-5-4241-1709-1

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Осоргин Михаил Андреевич
Сивцев вражек

Михаил Андреевич Осоргин

Сивцев вражек

Роман

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует - столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, русейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умицей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рождение весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое - любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул - хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясицу помял пальцами, опять зевнул - и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, - из-под книжного шкапа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется - все благополучно, все спит, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрами и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни - и столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие - в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход - из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка - и легкая тревога. Орнитолог спал постариковски, спокойно. Во сне говорил: "Что? Почему? Ах, это все равно!" Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, - а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, вылупились птенчики - три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка - осталась без родителей.

Старуха жива - былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, оставилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и как нигде - безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло - и она отпрянула. На тонкой мордочке заболтали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома.

Профессор играл: "Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фурурр... и трель... а вот как щелкает - никак не изобразишь!" Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. "Ну, руки у меня стары, еле двигаются". Танюша - будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович - пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Станный немного человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло - и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни - за книжный шкаф, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира - но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу - и исчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце

задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро - в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилося в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, шурясь, столкнулась с утром, и холодильник залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели - еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом, - какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая - день хороший, вторая - сегодня воскресенье. Вместо третьей думы - беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, "птичьего профессора", - сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино "чирр". Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом, сразу - ноги на коврик - и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. "Вовсе я не безобразная!"

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту - холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, - разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришита пуговка - уже девятый час. Будить дедушку - привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

- Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

- Алло, Танюша, встаю, встаю...

- Как вы спали?

- Хорошо, ты как?

- Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна, и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие, шурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и наткала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в

Гирши*, локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

* Место традиционного проживания московского студенчества. М. А. Осоргин в университетские годы и сам жил в этом районе (Большая и Малая Бронные улицы и примыкающие переулки).

Звенел трамвай неистово и напрасно, и городской белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролетов и одного ломовика.

В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышении.

Это был вообще - замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек,- было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питание, смерть,- были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговицах человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы*. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки - и рушился вместе с нею.

* Гекатомбы - здесь: всякое большое жертвоприношение.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его

лучи на землю - и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданием солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубленую, точную немецкую прозу. Послани-ник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Послани-ник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист*. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курят-ника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу их не задел.

* Маленький сербский гимназист - Гаврила Принцип, член сербскохорватской националистической организации "Молодая Босния", 28 июня 1914 г. совершил покушение в Сараево на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, наслед-ника престола. Этим убийством было спровоцировано начало первой мировой войны в июле 1914 г.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться нацио-нальным героем. Для этого нужно убить врага нации - иного способа стать геро-ем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель - грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось - в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весною. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигналь-ной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, вла-стители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, - но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, - искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на насесте наклонила случайно голову и из-бегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забывая копыта, лошадь тащила плуг. Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подре-занной снарядам березы, он падает, распластанный и оглушенный, остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И

осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитриевна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает, она удивлена; когда удивлена, - у нее поднимаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога с женой, - оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место - по левую руку Аглаи Дмитриевны - ждало его. Вообще - все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

- Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилагивать и приспособливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал, - но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитриевна в своем кресле под лампой - с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными косами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять беспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Беспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось - конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд - хорошо.

Вместо "л" Эдуард Львович выговаривал нечистое "р". И сказал:

- Я бы хотер попробовать сыграть... но торько еси вы хотите срушать... но

могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

- Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

-- Готово ли - как сказать... Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать "Космос".

Физик отозвался:

- Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

- Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он - инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ - все это слышал, имена, - но как различать? Скрябин - диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки несутся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я - профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки - как цветы, музыка - пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета - лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно - выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша - сиро-

та, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание - огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, - но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой - тысячелетие тому назад, другая звезда - десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги и головой прижавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонию. Маленькой горячей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней - в ее орбите - жила. Отдала работе неосознанной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебание звуков.

Полную комнату заполнила образами и видела рождение их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними - за пределами стен. Дыша - открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно принимала в складки ума новые тюки нераспакованной мысли - запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не боялась - но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он - цельность и завершение, она - на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупницы реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды, - но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти - к сладкому и страшному "зачем жизнь?" и особенно "как жить?". Однажды уже подумалась, что цель жизни - в процессе жизни; и потому мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но